

Азбука
PREMIUM

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

Ремесло

Повесть
в двух частях



Санкт-Петербург

Памяти Карла

Часть первая

НЕВИДИМАЯ КНИГА

ПРЕДИСЛОВИЕ

С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересуют признания литературного неудачника? Что поучительного в его исповеди?

Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование.

Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удастся располагать к себе людей. Я совершил десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными.

Я дважды был женат, и оба раза счастливо.

Наконец, у меня есть собака. А это уже излишество.

Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство без-

надежной жизненной непригодности? В чем причина моей тоски?

Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья...

Мне жаль, что прозвучало это слово. Ведь представления, которые оно рождает, безграничны до нуля.

Я знал человека, всерьез утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу...

Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением!

Да нет же! В этом-то и дело, что нет! Я выслушал сотни, тысячи откликов на мои рассказы. И никогда, ни в единой, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением. Даже когда объявляли таковыми Горецкого и Харитоненко.

(Поясню. Горецкий — автор романа, представляющего собой девять листов засвеченной фотобумаги. Главное же действующее лицо наиболее зрелого романа Харитоненко — презерватив.)

Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. (На ощупь — побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторски-

ми правами. (Обязанности разные.) Как минимум, одним неотъемлемым правом. Правом обнародовать написанное. То есть правом бессмертия или неудачи.

За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!

Я должен это понять.

Не буду утруждать себя композицией. Сумбурно, длинно и невнятно попытаюсь изложить свою «творческую» биографию. Это будут приключения моих рукописей. Портреты знакомых. Документы...

Как же назвать мне все это — «Досье»? «Записки одного литератора»? «Сочинение на вольную тему»?

Разве это важно? Книга-то невидимая...

За окном — ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. Фокстерьер Глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне.

А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину — один.

Лист бумаги — счастье и проклятие! Лист бумаги — наказание мое...

Предисловие, однако, затянулось. Начнем. Начнем хотя бы с этого.

ПЕРВЫЙ КРИТИК

До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло шестьдесят лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый апломб и прямоту клинициста. Это Мау сказала нашему квартуполномоченному полковнику Тихомирову, отдавившему лапу ее болонке:

— Вы — страшное говно, мон колонель, не обессудьте!..

Тихомиров жил напротив, загнанный в отвратительную коммуналку своим партийным бескорытием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристократическое происхождение. (У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы.)

— Ведьма! — грохотал он. — Фашистка! Какать в одном поле не сяду!..

Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон:

— Неужели какать рядом с вами такая уж большая честь?!

Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали...

Для Тихомирова я был чересчур изыскан. Для Мау — безнадежно вульгарен. Но против Агнии

Францевны у меня было сильное оружие — вежливость. А Тихомирова вежливость настораживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки.

И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным избытком. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. Трижды ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишённые индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно.

А я все говорил. Я говорил, что Лев Толстой, по сути дела, — обыватель. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что апперцепция у Бальзака — неорганична. Что Люда Федосеенко сделала аборт. Что американской прозе не хватает космополитического фермента...

И Тихомиров не выдержал.

Умышленно задев меня пологим животом, он рывкнул:

— Писатель! Смотрите-ка — писатель! Да это же писатель!.. Расстреливать надо таких писателей!..

Знал бы я тогда, что этот вопль расслабленного умственной перегрузкой квартуполномоченного на долгие годы определит мою жизнь.

«...Расстреливать надо таких писателей!..»

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

Кажется, я допускаю ошибку. Необходима какая-то последовательность. Например, хронологическая.

Первый литературный импульс — вот с чего я начну.

Это было в октябре 1941 года. Башкирия, Уфа, эвакуация, мне — три недели.

Когда-то я записал этот случай...

СУДЬБА

Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо...

Я родился в эвакуации, четвертого октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек.

Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное — совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь.

Штатский незнакомец казался вполне здоровым.

— Простите, — решительно и смущенно выговорил он, — но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку.

Мама возмутилась.

— Новости, — сказала она, — так вы и меня захотите ущипнуть.

— Вряд ли, — успокоил ее незнакомец.

Затем добавил:

— Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить...

— Идет война, — заметила мама уже не так резко, — священная война! Настоящие мужчины гибнут на передовой. А некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы.

— Да, — печально согласился незнакомец, — война идет. Она идет в душе каждого из нас. Прощайте.

Затем добавил:

— Вы ранили мое сердце...

Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями.

Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым.

Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам?..

Какая чепуха! В описанной истории даже я — фигура несомненная! Так что же говорить о Платонове?!

Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шевиотовый мантиль и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантиля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее?

Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящичке стола, неотличима от прошлогодних газет.

Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так:

«Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше...»

Было ли все так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова...

НАЧАЛО

Я вынужден сообщать какие-то детали моей биографии. Иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко, пунктиром.

Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором...

Школа... Дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает «форд»... Алеша шалит, мне поручено воспитывать его... Тогда меня возьмут на дачу... Я становлюсь маленьким гувернером... Я умнее и больше читал... Я знаю, как угодить взрослым...

Черные дворы... Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера... Я умею говорить, рассказывать...

Бесконечные двойки... Равнодушие к точным наукам... Совместное обучение... Девочки... Алла Горшкова... Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое бремя сексуальной невинности...

1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных...

Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов...

С поэзией кончено навсегда. С невинностью — тоже...

Аттестат зрелости... Производственный стаж... Типография имени Володарского... Сигареты, вино и мужские разговоры... Растущая тяга к плебсу. (То есть буквально ни одного интеллигентного приятеля.)

Университет имени Жданова. (Звучит не хуже, чем «Университет имени Аль Капоне»...) Филфак... Прогулы... Студенческие литературные упражнения...

Бесконечные переэкзаменовки... Несчастливая любовь, окончившаяся женитьбой... Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами — Рейном, Найманом, Бродским... Наиболее популярный человек той эпохи — Сергей Вольф.

ДЕДУШКА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката. Джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак.

Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснился без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.

Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил — водка нагревается.

— Любимые писатели? — коротко спросил Вольф.

Я назвал Хемингуэя, Бёлля, русских классиков...

— Жаль, — произнес он задумчиво, — жаль... Очень жаль...

Попрощался и ушел.

Я был несколько озадачен. Женя Рейн потом объяснил мне:

— Назвали бы Вольфа. Он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой...

Как всегда, Рейн был прав...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

(Из записных книжек)

Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил:

«Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Жаворонки попадают в сопла... Глохнут моторы... Самолеты падают... Люди разбиваются... Жаворонки попадают в сопла... Гибнут люди...»

А напротив сидел Женя Рейн.

«Самолеты разбиваются, — кричал Веселов, — моторы глохнут... В сопла попадают жаворонки... Гибнут люди... Гибнут люди...»

Тогда Рейн обиженно крикнул:

«А жаворонки что — выживают?!»

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

Да и с Вольфом у меня хорошие отношения.
О нем есть такая запись:

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака. Вручил его хозяйке и говорит:

«Поджарьте этого судака, и будем вместе ужинать».

Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому:

«У тебя есть карандаш и бумага?»

«Есть».

«Давай сюда».

Вольф порисовал минуты две и говорит: «Вот суки! Они подали не всего судака! Смотри. Этот подъем был. И этот спуск был. А вот этого перевала — не было. Явный пробел в траектории судака...»

ДАЛЬШЕ

1960 год. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема — одиночество. Неизменный антураж — вечеринка. Вот примерный образчик фактуры:

«— А ты славный малый!

— Правда?

— Да, ты славный малый!